

Абрамов Федор Александрович

В Питер за сарафаном

Опять горели где-то леса, опять солнце было в дыму, неживое, словно заколдованное, и песчаная раскаленная улица, вся расчерченная черными тенями — от амбаров, от изгороди, от поленницы, — светилась каким-то диковинным неземным светом. И временами казалось, там, за окнами, не то Кашеево царство из полузабытой сказки далекого детства, не то какая-то неведомая фантастическая планета. Но вокруг-то нас с Павлом Антоновичем никакой фантастики не было. Старинная крестьянская изба с плотно закупоренными окнами по случаю дыма и чада на улице, большая, еще битая из глины печь, с которой терпко пахло осиновым листом (старик держал козу), и занимались мы самым обыденным делом — разговором. Павел Антонович, хоть и не выпускал из рук полотенца — в избе было душно и жарко, — выглядел еще молодцом. За столом сидел прямо, умные серые глаза из-под густых, все еще черных бровей глядели твердо. Но странно бывает устроена человеческая память! Павел Антонович хорошо помнил седые предания о «белоглазой чуди», некогда жившей у нас, на Пинеге, до прихода новгородцев и москвитян, живо мог рассказать о причудах кеврольского воеводы, которому возили питьевую воду за пятнадцать верст из одного холодного ручья, знал о пустынях в глухих чащобах на Юле, где в старину скрывались раскольники и беглые солдаты, а вот когда заходила речь о гражданской войне на Севере — он сам был участником ее, — память ему частенько изменяла. Нас выручала Марья Петровна, его жена, полная, грузная старуха с удивительно молодыми глазами.

— Да ведь ты опять, дедо, не в те сани сел, — с легкой усмешкой поправляла она мужа и при этом поощряюще подмигивала мне:

— Пишите, пишите! Нынче вся жизнь на бумаге. По прошествии какого-то времени Марья Петровна, сочувственно поглядывая на меня и на мужа, сказала:

— Все вы упарились. Не знаю, разве к Филиппьевне сходить. У ней всегда квас на погребе. Старинного покроя человек...

— И тут же воскликнула:

— Вот она, легка на помине! Я почувствовал, как легкая тень прошла по моему лицу, и вскоре услышал шорох веника на крыльце, скрип наружной двери. В избу вошла старушонка. Чинно перекрестилась, разогнулась и прошамкала какое-то приветствие на старинный манер, вроде «все здорово-те». До чего же эта была маленькая да ветхозаветная старушоночка! И опять на память невольно пришла старинная сказка с ее добрыми и благочестивыми бабушками-задворенками. Впрочем, одета она была по современному: стеганая коричневая безрукавка, серый матерчатый передник, сапожонки кирзовые, а от прошлого разве что полинялый бордовый сарафан, да домотканый пояс с кистями, да синий повойник, выглядывавший из-под теплого бумазейного платка, по-старинному повязанного концами наперед.

— Что, Филиппьевна, в гости? — спросила хозяйка, подавая ей табуретку.

— Како в гости? Середь бела дня в гости! Филиппьевне-то пензии не платят. Это вам, молодым, по гостям ходить. Пришла про рожденье свое узнать.

— Ох ты господи! — всплеснула руками Марья Петровна.

— Я и забыла тебе сказать. Завтра у тебя день рожденья.

— Завтра? То-то мне не сидится сегодня. Куделю пряду ноне. Председатель просит: «Выручи, Филиппьевна, без веревок сидим, никто не хочет престь». А как Филиппьевны-то не будет, к кому, говорю пойдешь?

— Бабушка, — подал и я свой голос, — а сколько вам лет?

— Кто у вас в гостях-то? Худо вижу — весь свет в дыму. — Филиппьевна поднесла сухонькую коричневую руку к глазам и, подслеповато щурясь, посмотрела в мою сторону.

— Молодец кабыть? Откуда?

— Дальний, бабушка.

— Я нарочно повысил голос, сообразуясь с ее возрастом. — Чую, что дальний. У нас говоря-то кабыть потише, — с легким подковыром сказала старуха. — Из Ленинграда, бабушка. Слыхала такой город? — Она не только слыхала. Она бывала там, — не без удовольствия ответила Марья Петровна. — Почто бывала-то? — с притворной сердитостью возразила Филиппьевна. — Я и в Питере бывала-то.

— Так ведь это одно и то же, бабушка, — рассмеялся я.

— Одно, да не одно. В Ленинград-то на машинах ездят да по воздуху летают, а в Питер-то я пешком хаживала.

— Пешком? — Пешком. — Отсюда, из Ваймуши?

— Это деревня километрах в четырех от Пинежского райцентра. Подальше маленько. Верст десять еще прибавь. Из Шардомени. Я перевел взгляд на Марью Петровну, затем снова посмотрел на старушонку. Да не морочат ли они меня? Ведь это же сколько? С Пинеги до Двины, с Двины до Вологды... Свыше полутора тысяч километров! И вот такая крохотуля промеряла такое расстояние своими ногами... Но еще больше удивился я, когда услышал, что она ходила в Питер — за чем бы вы думали? — за сарафаном...

— Правда, правда, — горячо заверила меня Марья Петровна.- Ходила наша бабушка. За сарафаном ходила. Расскажи, Филиппьевна, не забыла еще? — Как забыть-то... Мне еще тогда говаривали: ну, девушка, всю жизнь будешь вспоминать Питер. И верно: как вечер-то подойдет, так и почнет из меня жилочки вытягивать. Всю-то ноченьку как на вытяжке лежу.

— Это, Филиппьевна, годы выходят, — посочувствовала Марья Петровна. — Да ведь мои годы еще что. Восемьдесят четвертый пойдет, а матенка у меня в девяносто лет за морошкой хаживала. Павел Антонович, который с приходом Филиппьевны завалился на кровать и до сих пор хранил молчание, тут поднял крупную облысевшую голову:

— Про матенку-то ему неинтересно. Ты про то, как в Питер ходила. Раньше, бывало, только об этом и трещала. Питербуркой звали. — Звали. И

рассказывать любила. А сейчас вся дорога в дыму. А раньше-то? Как начну вспоминать, каждый кустик, каждую ямочку вижу. Все-таки Филиппьевна поддалась уговорам.

— Вишь, родитель-то у меня из солдат был, бедный, — издалека начала она,

— а нас у его пять девок. А мне уж тогда пятнадцатый год пошел, а я все в домашнем конопляном синяке хожу. Вот раз зашла к соседям, а у них посылка от сына пришла — в Питере живет. И такой баской сарафан прислал сестре — я дыхнуть не могу. Алый, с цветами лазоревыми — как теперь вижу... Ну, скоро праздник престольный подошел — богородица. Вышли мы с Марьюшкой — это дочь-то соседей, которым посылка из Питера пришла. Вышли впервой на взрослое игрище. Она в новом сарафане, а я в синяке, только пояском новым — сама соткала — подпоясалась. Смотрю, и робята толк в сарафанах понимают. Я хоть и маленькая росточком была, можно сказать, век недоростком выжила, а на лицо ничего, приглядна была. А Марьюшка, прости господи, тюрятюрей — губы распушит, на ходу спит. А тут в новом-то сарафане нарасхват пошла. Бедно мне стало. Вот и думаю: мне бы такой сарафан! — боюсь в девках засидеться. А откуда такой сарафан возьмешь? Житье-то у родителей не богато. Братьев нет. Вижу, самой смекать надо. А где? Куда девку-малолетку возьмут? Ни в лес, ни в работницы. Да и сарафан-то питерский мутит голову. У иных девок тоже сарафаны, да не питерские — дак робята-то не так кидаются. Ну и порешила: пойду в Питер за сарафаном. Сходила...

— Эка ты, — подосадовала Марья Петровна,

— да как ходила-то, рассказывай! Филиппьевна вытерла темной рукой глаза. — Мама, как услышала, что я в Питер надумала, заплакала. «Что ты, говорит, Олюшка, умом пошаталась?» А тата-покойничек, из солдат был, крутой на руку. Икону с божницы схватил: «Моя, говорит, девка! Иди, Олька. Люди же, говорит, ходят». Ну, матенка непривычна была перечить — не нынешнее время. Назавтра рано встала, хлебцы испекла, а тата уж

воронуху запряг. Мама в голос, суседи прибежали: куда да куда девку собираете? А тата молчит, подхватил меня как перышко в сани и давай кобылу вожжами нахаживать. Тоже и ему не сладко было... Верст тридцать, до Марьиной горы, родитель подвез. Дал мне на прощанье рупь медью.

— На-ко, девка, иди с рублем в Питер, — всхлипнула Марья Петровна.
— Дак ведь деньги-то не трава — в лесу не растут. А дома-то у нас еще четверо по лавкам... Ну, дал мне родитель денег, перекрестил: «Иди, говорит, Олька, ищи свое счастье». А я как увидела, что он в сани садится, заревела: «О татонька, татонька, не уезжай. Не надо мне и сарафана». — «Нет, говорит, Олька, иди. Проходу тебе в деревне не будет, питербуркой звать станут». Филиппьевна опять вытерла глаза.

— А все равно — и сходила в Питер, а прозвище приросло. Питербуркой и помирать стану.

— Ты скажи, как в лесу-то одна зимой осталась.

— Марья Петровна прослезилась. У меня тоже что-то защекотало в горле.

— Так и осталась. Кругом ели, как медведицы на задних лапах выстали, а я одна посередь дороги. И вперед ступить боюсь, и назад ходу нету. Отец-то у нас два раза говорить не любил... Спасибо людям. Меня как за руку до самого Питера вели. Выпрошусь у кого на ночлег, скажу, куда иду, только головами машут да охают. «Полезай ты, говорят, скорее, дитятко, на печь». А иной раз и подвезут, а то опять когда подводы идут, и за подводами подбежу. Только один раз мужичок подшутил, не на ту дорогу направил. Дак уж его в деревне ругали. «Вот какой, говорят, бесстыдник, над кем смываться вздумал. Отольются ему эти слезы». А так что — грех обижаться. Приветили в каждой деревне. И молоком накормят, и картошки на дорогу сунут. Хлебцем-то, правда, бедновато было — голодный тогда год был...

— Давай дак, не все приветили, — поправила Филиппьевну Марья Петровна.

— Забыла, как у мужика-то заплатки отработывала? — Дак ведь то уж где было-то. К Вологде подходила.

— Верно, верно, до заплаток-то ты еще к лету шла.

— Хошь не к лету. К весне. За зимой-то чего бывает?

— Ну-ну, — с готовностью согласилась Марья Петровна. -Рассказывай. Про журавлей-то не забудь.

— Вишь вот, она и про журавлей помнит, — кивнула мне Филиппьевна, и темное морщинистое лицо ее заметно посветлело. Видно, очень уж дорого было ей это воспоминание.

— Были, были журавли, — вздохнула она.

— Я из дому-то зимой отправилась, а на Двину-то вышла — шука лед хвостом разломала. «Иди, говорят, прямо на весну». Вот и иду на солнышко. Тепло. Травка стала проглядывать, а потом и журавли полетели. И так мне стало тоскливо. К нам ведь журавли-то летят. Встану, голову кверху задеру: «Журавушки, журавушки, кричу, скажите нашим, что девку на дороге видели. Жива». Тата уж помирать собрался, вспомнил: «Я, говорит, сам, Олька, всю весну журавлей выпрашивал, не видали ли где мою девку?»

— Пишите, пишите, — наваливаясь на стол грудью, говорила мне Марья Петровна, вся взволнованная, мокрая от жары и переживаний.

— Чего сказки-то писать? Ему про гражданскую войну да про революцию надо, — вдруг подал голос с кровати Павел Антонович. Он, оказывается, не спал, а тоже слушал.

— Чего писать... — рассердилась Марья Петровна. — Про это тоже знать надо. В прошлом году из Ленинграда приезжали, сказки да старинные песни записывали. А я говорю, у нас бабушка есть — почище всякой сказки будет. Ну-ко, Филиппьевна, как тебе мужик заплатки-то ставил?

— И Марья Петровна, предвосхищая дальнейший рассказ, весело подмигнула мне.

— Это уж, девка, близко к Вологде. Обносила я, обтрепалась. Дорога сопрела, лужи выступили, а я все в катанцах бреду. Вот в одной деревне и

выйди мне навстречу мужик. «Что, говорит, глупая, лето пугаешь? Есть, говорит, у меня сапожонки некорыстные — только заплаты поставить надо». Ну, я без памяти рада. «Ладно, говорит, дам я тебе сапоги, только уговор — за каждую заплату ты мне день с робятами поводишься». Филиппьевна пожевала старыми губами, криво усмехнулась:

— Много он заплаток наставил. Недели три я у него жила. После этого старуха не без помощи Марьи Петровны припомнила еще несколько забавных случаев из своего многотрудного хождения, а затем, направляемая все той же Марьей Петровной, вошла наконец в Питер.

— Дома большие, каменные, и столько окошек в каждом доме — у нас во всей деревне столько-то не будет, сколько в одном тамошнем доме. А людей-то, господи, как воды льет. Лошадей-то скачет... А я с белым мешочком за спиной, батожок в руках, босиком, на само Невсько — главный прищпект — выкатила. Вот тут-то у меня ноженьки и отказали. Всю дорогу хорошо бежали, а на Невсько вышла — и отказали. Стою, с места двинуться не могу. Боюсь нырнуть-то в эдакий муравейник. Думаю, нырнуть-то нырну, а как вынырну? А мне суседа, Марьюшкина брата, разыскать надо. Дале догадалась: постой, ведь у меня бумажка есть, там все написано. Ну, бумажечку достала, держу в руках. А тата мне наказывал: «Ты, говорит, Олька, у бедных больше спрашивай — скорее скажут». А поди разберись, который тут бедный, который богатый. На кого ни погляди — все господа да барыни. Ну, нашелся кавалер, сам прочитал. «Тебе, говорит, девушка, на Васильевский остров надо. Иди, говорит, все по Невському прищпекту, там царьский дворец будет».

— Филиппьевна подняла голову.

— Видела. И царьский дворец видела, и столб каменный. Стоит ли столб-то ноне? — спросила она у меня, и маленькие полинялые глазки ее на мгновение зажглись любопытством.

— Вишь ты, все еще стоит, — покачала она головой.

— Да и как не стоит. Каменный — чего ему дается. Морщась, Филиппьевна попробовала разогнуться, потерла рукой поясницу.

— Вишь, вот где у бабушки Питер-то сидит. Так недоростком и осталась. Люди всю жизнь смеялись: «Стопталась, говорят, за дорогу».

— Ты про Питер-то расскажи, — опять начала подсказывать Марья Петровна.

— Чего про Питер-то рассказывать? Я ведь в Питер-то не на гулянку шла. Робятки что в Питере, что у нас, в деревне, одинаково пеленки марают.

— В няньках бабушка жила, — пояснила Марья Петровна.

— Год у немца выжила. Меж тем Филиппьевна уже поднялась на ноги. Марья Петровна засуетилась, открыла старинный буфет, зашуршала бумагой.

— Это гостинцы тебе. Ко дню рожденья, — говорила она, засовывая небольшой сверток в газете за пазуху Филиппьевне.

— А про главное-то и не сказала, — вдруг пробасил с кровати Павел Антонович.

— Сарафан-то как? — Купила, — с досадой ответила старуха.

— Все Невсько обошла, а такой же, как у Марьюшки, купила.

— Ну, и подействовал сарафан на ребят? — Павел Антонович, видимо, заранее зная ответ, захохотал.

— Подействовал. До пятидесяти годов в девках сидела. Марья Петровна с непритворной сердитостью замахала на мужа руками — не растравляй ты, мол, старую рану, но Павел Антонович снова громыхнул:

— Не тот сарафан, наверно, купила. Филиппьевна не сразу ответила, и бог знает, чего больше было в ее словах — неизбывной горечи или запоздалой насмешки над собой:

— Меня уж после люди надоумили. Не сарафаном, говорят, взяла Машка, а коровами. У отца-то ейного пять голов было, а у моего-то родителя в то лето ни одной. Выйдя на крыльцо, Филиппьевна подняла голову и, поднеся к глазам сухую коричневую ладошку, поглядела на небо.

— Это на солнышко смотрит, — сказала со вздохом Марья Петровна.

— Сколько, думает, зря просидела. Старорежимная бабушка! Припав к окну, я долго провожал глазами ковыляющую по песчаной дороге маленькую, одинокую в этот час на деревенской улите старушонку. Шла она мелкими шажками, широко расставляя короткие негнущиеся ноги в кирзовых сапожонках и важно, как на молитве, размахивая руками. Потом, дойдя до старого дома, она завернула за угол. Пусто, совсем пусто стало на улице. Пахло лесным дымом, чадом, от песчаной дороги несло зноем пустыни, и только еле приметная цепочка следов, проложенная от крыльца к соседнему дому и все еще дымящаяся пылью, указывала на то, что тут недавно прошел человек. Вот так же когда-то, думал я, проложила свой след на Питер безвестная пинежская девчушка. Давно смыт тот след дождями и временем. Скоро смоем время и самое Филиппьевну. Но хождение ее, как сказка, останется в памяти людей. Да, хорошо это — оставить по себе хоть крохотную сказку, помогающую жить людям.